



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

<Объявления об издании журналов «Время» и «Эпоха»>

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год>

**С января 1861 года будет издаваться «Время»,
журнал литературный и политический, ежемесячно,
книгами от 25 до 30 листов большого формата**

Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Всё это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносильен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщение всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, — народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъединенного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта. Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна

лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя — иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожатаями и предводителями показывает, какую дороною ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения — двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все следовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии себя в одну из западных форм жизни, выжитых и тайных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, — точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача — создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народ-

ных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными, людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимою. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие пожертвования, и возможно скорейшее, — вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, — вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его — счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за образованным

сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало — вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, — побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подобострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандальных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом

прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. <...>

<Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год>

«Время»

**Журнал литературный и политический
будет издаваться и в 1862 году ежемесячно
книгами от 25 до 30 листов большого формата**

Первый год издания нашего журнала оканчивается, и мы приступаем к объявлению подписки на второй. <...> говорить еще надо о многом. Договориться до чего-нибудь надо непременно. Не следует, чтоб события, факты, застали литературу нашу врасплох.

Все объявляют, что они за прогресс; без этого нельзя, это *sine qua non**. Но что за прогресс, когда мы *de facto*** всё еще сидим на европейских учебниках? Движение вперед — явление нормальное, законное, и боже нас сохрани противоречить ему! Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна *своя* почва, *свой* климат, *свое* воспитание. Без крепкой почвы под ногами и движение вперед невозможно: еще, пожалуй, поедешь назад или свалишься с облаков. Как не согласиться, что многие явления даже прошедшей, отжившей жизни нашей мы меряли слишком узкой меркой? Мы ко всему сплошь прикидывали наш новый аршинчик торопливо, с заранее готовым взглядом. Мы *поскорее* хотели успокоить себя, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? Даже во многих явлениях, прямо отнесенных нами к «темному царству», мы проглядели почвенную силу, законы развития, любовь¹.

* Непременное условие (*лат.*). — *Ред.*

** Фактически (*лат.*). — *Ред.*

На всё это надо выработать взгляд новый, беспристрастный, подальше новиднее. Мы уничтожали всё сплошь, потому только, что оно старое. Боже нас сохрани от старых форм в жизни... Не в них совсем и дело, и не про то совсем мы говорим.

Случается, что переселенцы, когда идут за тысячи верст, со старого места на новое, плачут, целуют землю, на которой родились их отцы и деды; им кажется неблагодарностью покинуть старую почву — старую мать их, за то, что иссякли и иссохли сосцы ее, их кормившие. Они берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню своим правнукам, в вечное, благоговейное воспоминание. Но проходит время — и правнуки уже дивятся тому, что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. И правнуки правы; у них давно уже есть своя, новая почва, уже им служившая, их кормившая. Но у нас, у нас! какая у нас новая почва? Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение часто бывает теперь похоже на ощущение воздухоплователя, поднявшегося на 7000 футов от земли. Он, конечно, с такой высоты может сделать много прелюбопытнейших наблюдений, разумеется, слишком отвлеченных, не совсем *близких*, и главное — как-то нестерпимо *свысока*; а все-таки, какую бы любовь он ни питал к науке, ему всё хочется на землю. Даже трусит немножко один-то... дышать трудно, упасть можно... Ведь воздушный шар-то, пожалуй, может и лопнуть как мыльный пузырь...

Да уж согласимся наконец, вымолвим всю правду: мы и *русскую*-то нашу землю любим как-то условно, по-книжному. Мы приучились наконец к тому, что нам уж ни до чего дела нет. Мы так обленились, что привыкли к тому, чтоб за нас всё другие делали, а нам уж подавали готовое, хоть и нехорошо приготовленное, но готовое. Зато самолюбия, желчи в нас накопилось бездна; немудрено — сидячая жизнь! Справьтесь с медициной. Мы жаждем практики и сердимся лежать за то, что у нас ее нет. Может быть, если б умели любить, то нашли бы себе, пожалуй, и практику; ведь любить-то можно и при разлитии желчи...

Но покамест у нас еще только раздоры и споры, правда, всё о предметах высоких: о русской мысли, о русской жизни, о русской науке и проч. Мы даже дошли до того, что многие из мыслителей наших *откровенно* спрашивают: «Какая же это русская мысль? Что это за слово такое: народная почва?» *Откровенность* этих вопросов — факт очень значительный и многое оправдывающий. Мы говорим серьезно. Значит, уж очень хочется договориться, коли об этом не затрудняются спрашивать. Впрочем, блаженной памяти «западники» были еще последовательнее: те тоже в крайних случаях никогда не хитрили и прямо говорили, что нам надо сделаться, например, хоть французами. Если они

и не высказали этого прямо, то по крайней мере уже раскрыли рот, чтобы высказать, и остановились единственно потому, что поперхнулись... слово-то у них в горле поперек стало. Если б Белинский прожил еще год, он бы сделался славянофилом, то есть попал бы из огня в полымя; ему ничего не оставалось более; да сверх того, он не боялся, в развитии своей мысли, никакого полымя. Слишком уж много любил человек! Многие из теперешних стоят на той же точке, на которой остановился Белинский, хотя и уверяют себя, что ушли дальше². Другие наши мыслители, оттого что они во фраках, не хотят признать себя за народ³. Третьи хотят выписывать русскую народность из Англии, так как уж принято, что английский товар самый лучший⁴. Четвертые бродят накануне открытия общих законов, общей формулы для всего человечества, лепят общую всенародную форму, в которую хотят отлить всеобщую жизнь, без различия племен и национальностей, то есть обратить человека в стертый пятиалтынный⁵.

Мы будем следовать вполне всё тем же идеям, которые выразили в прошлогоднем объявлении о нашем журнале.

И хоть мы немного еще могли сказать до сих пор, но делу своему служили совестливо. То, что мы считаем за истину, — мы любим и ценим. Литературу мы отстаивали. На литературу мы смотрели как на силу самостоятельную, а не как на средство, хотя и признаем нормальность и законность многого в уклонениях нашего последнего литературного времени. Перед авторитетами мы не преклонились. Фразерства, эгоизма, самодовольства и самолюбия, доходящего до пожертвования истиной, мы не щадили в других и даже, может быть, увлекались до ненависти. Мы увлекались во многом, сознаемся в этом, но очень не раскаиваемся. Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восставать против иных мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику резкостью и излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направления благородного. Мы потому извиняемся в этом, что обещали полемику беспристрастную. Мы не думаем, впрочем, чтоб мы были очень пристрастны; мы отвечаем за наши беспристрастия и впредь. Poleмику же идей мы считаем в наше время необходимою. Скептицизм и скептический взгляд убивают всё, даже и самый взгляд наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным сном. А ведь теперь литература есть одно из главнейших проявлений русской сознательной жизни. К нам почти все привилось извне, все досталось нам даром, начиная с науки до самых обыденных жизненных форм; литература же досталась нам собственным трудом, выжилась собственной жизнью нашей. Оттого-то мы и ценим и любим ее. Оттого-то мы и надеемся на нее. <...>

Об издании ежемесячного журнала «Эпоха»,
литературного и политического,
издаваемого семейством М. М. Достоевского

<...>

Направление журнала неуклонно остается прежнее. Разработка и изучение наших общественных и земских явлений в направлении русском, национальном по-прежнему будут составлять главную цель нашего издания. Мы по-прежнему убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими. Признак же настоящего русского теперь — это знать то, что именно теперь надо не бранить у нас на Руси. Не хулить, не осуждать, а любить уметь — вот что надо теперь наиболее настоящему русскому. Потому что кто способен любить и не ошибается в том, что именно ему надо любить на Руси, — тот уж знает, что и хулить ему надо; знает безошибочно, и чего пожелать, что осудить, о чем сетовать и чего домогаться ему надо; и полезное слово умеет он лучше и понятнее всякого другого сказать, — полезнее всякого присяжного обличителя. Многие научились мы бранить в нашем отечестве, и иногда, надо отдать справедливость, довольно остроумно и как будто даже и метко бранились. Чаще же всего городили ужаснейший вздор, за который покраснеют за нас грядущие поколения. Но зато мы до сих пор не научились и, почти сплошь, не знаем того, что именно должно не бранить на Руси. За это и нас никто не похвалит. В самом деле, в чем мы наиболее все ошибаемся и в чем все до ярости несогласны друг с другом? В том, что именно у нас есть хорошего. Если б нам только удалось согласиться в этом пункте, мы б тотчас же согласились и в том, что у нас есть нехорошего. Неумелость эта — опасный и червивый признак для общества. Вот отчего нас (то есть общество) до сих пор и не понимает народ. Народ и мы — любим розно; вот в чем наш главный пункт разделения. Непонятно и смешно другим стало наше выражение: «*почва*»¹. Почва вообще есть то, за что все держатся и на чем все держатся и на чем все укрепляются. Ну а держатся только того, что любят. А что мы любим и умеем любить теперь в России искренно, непосредственно, всем существом нашим? Что нам в ней теперь дорого? Разве не за стыд, не за ретроградство считают у нас до сих пор идею о том, что мы — сами по себе, что мы своеобразны, *своеисторичны*? Разве не за принцип науки считают у нас, что национальность, в смысле высшего преуспевания, есть нечто вроде болезни, от которой избавит нас всестирающая цивилизация?

По нашему убеждению, как бы ни была плодотворна сама по себе чья-нибудь захожая к нам идея, но она лишь тогда только могла бы

у нас оправдаться, утвердиться и принести нам действительную пользу, когда бы сама национальная жизнь наша, безо всяких внушений и рекомендаций извне, сама собой выжила эту идею, естественно и практически, вследствие практически признанной всеми ее необходимости и потребности. Ни одна в мире национальность, ни одно сколько-нибудь прочное государственное общество еще никогда не составлялись доселе по предварительно рекомендованной и заимствованной откуда-нибудь извне программе. Всё живое составлялось само собой и жило в самом деле, взаправду. Все лучшие идеи и постановления Запада были выжиты у него самостоятельно, рядом веков, вследствие органической, непосредственной и постепенной необходимости. Те, которые начинали в Англии парламент, уж, конечно, не знали, во что он обратится впоследствии. Отчего же обличители наши отказывают нам в собственной, своеобразной жизни и смеются над выражениями нашими: «органическая, почвенная, самостоятельная жизнь»? Но, смеясь свысока, они то и дело шибаются сами и путаются в современных явлениях нашей национальной жизни, не зная, как и определить их: органическими или наносимыми, хорошими или дурными, здоровыми или червивыми? Они до того теряют точность в определениях, что даже начинают бояться определений и всё чаще и чаще спасаются в отвлеченность. Всё более и более нарушается в заболевшем обществе нашем понятие о зле и добре, о вредном и полезном. Кто из нас, по совести, знает теперь, что *зло* и что *добро*! Всё обратилось в спорный пункт, и всякий толкует и учит по-своему. Говоря это, мы не выставляем, разумеется, себя безошибочными и всезнающими; напротив, мы, так же как и все, можем городить вздор, совершенно искренно и добросовестно. Мы не попрекая говорили сейчас: мы сокрушаясь говорили. Но нам все-таки кажется, что наша точка зрения дает возможность вернее и безошибочнее разузнать и точнее распределить то, что кругом нас происходит (мы не журнал наш хвалим теперь, мы точку зрения хвалим). На такой точке зрения мы уже не можем, например, оставаться в недоумении перед недавними фактами нашей национальной жизни, не зная, как отнестись к ним, то есть и за общечеловеческие наши убеждения боясь, и неотразимый факт проглядеть боясь, — сбиваясь и путаясь и на всякий случай наблюдая благоразумное влияние туда и сюда.

<...>

Конечно, все мы, в нашей литературе, все, кроме весьма немногих, вообще говоря — любим Россию, желаем ей преуспеяния и все ищем для нее того, что получше. Одного только жаль: все мы желаем и ищем каждый по-своему и расползлись в разных «направлениях», как раки из кулька. Почти все у нас ссорятся и перессорились. Правда, ничего более нам не оставалось и делать в качестве уединенных людей и покамест никому ненадобных и никем не прошенных. Но все-таки если проявлялись где

признаки самостоятельной жизни в нашем обществе (то есть собственно в образованном обществе), то уж, конечно, наиболее в литературе. Вот почему мы, несмотря на смешение языков и понятий и на всеобщие ссоры, все-таки смотрим на нашу литературу с уважением, как на явление жизненное и в своем роде — совершенно органическое. Осуждая других в ссорах и распрях, мы не думаем исключить и себя; мы тоже не избежали своей участи; не извиняемся и не оправдываемся; скажем одно: мы всегда дорожили не верхом в споре, а истиной. Конечно, и ловкие спекуляции на убеждения уже водятся в нашей литературе; но в сущности, даже и тут — более явлений смешных, чем серьезных; более комических историй, раздраженных самолюбий и напрашивающихся в карикатуру претензий, чем истинно грустных и позорных фактов. Мы обещаемся внимательно следить за ходом и развитием нашей литературы и обращать внимание на всё, по нашему мнению, значительное и выдающееся. <...>

Ряд статей о русской литературе

Введение

I

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден; Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского может быть даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия — одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile** или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже луна теперь исследована гораздо

* Вечный двигатель (*лат.*). — *Ред.*